



ПЕТЕР НАДАШ
ПУТЕШЕСТВИЕ
ВОКРУГ ДИКОЙ ГРУШИ
СОБРАНИЕ МАЛОЙ ПРОЗЫ

Петер Надаш Путешествие вокруг дикой груши

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68691522

Путешествие вокруг дикой груши: Издательство Ивана Лимбаха; СПб;

2021

ISBN 978-5-89059-442-6

Аннотация

Петер Надаш (р. 1942) – венгерский прозаик, получивший мировую известность прежде всего благодаря своим грандиозным романам «Книга воспоминаний» (1986, русский перевод 2014) и «Параллельные истории» (2005). Настоящее издание служит своеобразным введением в творчество этого еще недостаточно хорошо прочитанного в России классика современной словесности. Книга охватывает более полувека его творчества и включает семь важных вещей, начиная с дебютной повести «Библия», в которой двадцатилетний автор начал воплощать в жизнь свой юношеский замысел «описать все-все, что люди утаивают друг от друга», и заканчивая «Солью жизни» – ироническим травелогом, в котором Надаш, неожиданно изменив масштаб, анализирует не микродвижения мыслей и чувств современников, а механизм исторических перемен на примере небольшого европейского городка. В центре книги –

поразительный текст: философская повесть-эссе «Собственная смерть» о клинической смерти, пережитой автором в 1993 году. Переводы, печатавшиеся ранее, публикуются в новой редакции. Фото на обложке: Ник Теплов

Содержание

Библия	6
1	7
2	11
3	17
4	24
5	28
6	32
7	37
8	43
9	50
10	53
11	64
12	67
13	75
14	81
Конец ознакомительного фрагмента.	84

Петер Надаш

Путешествие

вокруг дикой груши

Фото на обложке: *Ник Теплов*

© by Péter Nádas, 1997, 2001, 2006, 2016

© В. Середа, составление, перевод, 2021

© О. Серебряная, послесловие, 2021

© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2021

© Издательство Ивана Лимбаха, 2021

Библия

No innate principles¹
(Локк, XVII век)

A Biblia [1965].

¹ Нет врожденных принципов (англ.; Джон Локк. «Опыт о человеческом разумении»). Здесь и далее примечания переводчика.

1

Всякий раз, когда кто-нибудь отворял или затворял массивные, тяжело открывавшиеся и закрывавшиеся кованые ворота, они дребезжали немилосердно всем своим поржавевшим убранством из хлипких розеток, подвесок и причудливо-вычурных акантовых листиков. Скрипучие смутные звуки, разрывая тишину сада, долетали до одноэтажного особняка, украшенного лепниной, и, отразившись от него вялым откликом, замирали.

Особняк раскинулся среди сада привольно, словно кичась внушительными своими размерами, однако у тех, кто его возводил для тщеславных хозяев, все же хватило такта не выставлять творение рук своих напоказ всей улице. Фасад виллы был искусно укрыт от посторонних глаз рослыми елями, альпинариями и рядами пышных кустов. И только терраса да зимний сад, окруженный затейливыми решетками, открыто смотрели на город, утопавший в туманной дымке.

После обычного городского жилья шести-комнатные хоромы, рассчитанные на иной, чуждый нам образ жизни, казались каким-то архитектурным анахронизмом. Мы искренне изумлялись, глядя на мраморную облицовку передней и просторную, впору танцы устраивать, ванную комнату с голубым кафелем. Мебель наша совсем затерялась в высоких покоех, отоплять все шесть комнат не было никаких сил,

так что смешанная с удивлением радость мало-помалу сменилась досадой. В конце концов от двух комнат с отдельным входом родители отказались.

Вскоре в них поселились молодые супруги, но мы их почти не видели – настолько огромен был сад.

Я слонялся целыми днями как неприкаянный. Тайком баловался сигаретами или, вытащив в сад шезлонг, устраивался в нем с каким-нибудь чтивом.

Все это время теперь вспоминается мне как сплошная тягостная тоска. Однако жизнь моя – при всей ее скуке и праздности – подчинялась известному распорядку. Вернувшись из школы, я обедал и отправлялся в сад, где, похлопывая себя по ноге прутиком и с гордостью озирая цветочные клумбы, прогуливался в компании с гладкошерстным фоксом, неотступно следовавшим за мной по пятам.

Обойдя раз-другой владения, я шел переодеваться и, натянув на себя потрепанные штаны и футболку, выскакивал снова в сад. Мета, сидя на задних лапах и в нетерпении подрагивая хвостом, дожидалась меня у двери. Наступало время «корриды».

Размахивая красной тряпкой, я пускался бегом по дорожке. Мета бросалась за мной, догоняла и, вцепившись в материю, тащила ее к себе, потом отпускала, я раскручивал тряпку над головой собаки, она взвизгивала, рычала, ошалело кружилась на месте, пока, изловчившись, не захватывала опять добычу – уже крепко, не думая отпустить, но я все-

таки отнимал ее и пытался удрать; Мета мчалась за мной, мы падали, кувыркались в траве, она прыгала мне на грудь, хватала за руки и, в свою очередь завладев красной тряпкой, пускалась с ней наутек... И так каждый день – до упаду, до колик в боку от смеха и беготни.

Иногда, заигравшись, она забывала о правилах и принималась рычать на меня всерьез, клацала зубами и угрожающе щерилась, показывая жутковатые бледно-розовые десны и нёбо в темных пигментных пятнышках.

Но страх распялял меня пуще прежнего. Я упрявился, не желая ей уступать. И однажды в один из таких моментов она на меня набросилась.

Вышло так, что материя зацепилась, запуталась у нее в зубах, я рванул ее и вместе с тряпкой поднял собаку в воздух. Взвыв от боли, она изогнулась всем телом и шлепнулась на землю. Из пасти торчал клочок красной ткани.

Тут-то она и цапнула меня за ногу. Ошарашенный, я какое-то время не мог опомниться. От испуга, конечно же, не от боли, ведь на месте укуса осталась лишь небольшая царапина. В двух шагах от меня в траве валялась мотыга. Я медленно, не вполне отдавая себе отчет в том, что делаю, потянулся за нею. Собака приникла к земле, устремив на меня умоляющий взгляд. Я стал избивать ее. Брызнула кровь. Поначалу Мета пронзительно взвизгивала, потом закрыла глаза и молча сносила удары острой, рассекающей шкуру и мясо мотыги.

Уж не знаю, насколько хватило бы моих сил и злости, не останови меня отвращение.

Я бросил собаку в сад, и несколько дней мы ее не видели. Лишь в субботу под вечер отец обнаружил ее под стогом сена. Он взял Мету на руки и принес в переднюю.

В глазах ее застыл ужас. Пылавшее жаром тело было покрыто запекшейся кровью, на раны налипла солома. Дышала она прерывисто, вывалив язык и все время облизываясь.

Мать промыла и перевязала ей раны, напоила ее, после чего они с отцом долго гадали, какой изверг мог так изуверчить собаку. «Наверно, цыплят воровала», – решили они наконец... Я помалкивал.

А наутро по пути в ванную чуть было не споткнулся о неподвижное тело Меты. Видимо, ночью она пыталась доползти до двери, на воле хотела подохнуть... С потрясенным лицом вбежал я в спальню родителей. Они еще не вставали, ведь утро было воскресное.

– Умерла, – произнес я сквозь слезы и ткнулся лицом в плечо матери – но тут же отпрянул, как только она попыталась погладить меня. В утешениях я не нуждался.

2

После этого случая я долго не находил себе места. Но потом, очутившись как-то на чердаке, открыл там неслыханные сокровища: целые залежи старых писем, газет, фотографий, оставшихся в виде единственного наследства от прежнего хозяина-землевладельца. Я рылся в пожелтевших бумагах, с наслаждением читал письма, пространные и обстоятельные, писанные заостренным убористым почерком. Часами просиживал я на пыльной балке, погруженный в мир, где были званые вечера и амурные приключения, моды и горничные, рыцари и морские прогулки. Разглядывал фотографии, на которых изящные, стройные господа и дамы красовались то на палубе белоснежного лайнера, то верхом на верблюдах на фоне египетских пирамид, то под аркадами римских палаццо, то в гондолах в Венеции.

Солнечный свет, вливаясь в узкие слуховые окна, выхватывал из полумрака мириады золотистых пылинок. Снаружи лишь изредка доносились отдаленные голоса да размеренно-монотонным, обычно незамечаемым гулом напоминал о себе распростершийся внизу город.

После каждого прочитанного письма я погружался в мечтания. И уже видел себя в седле. Мальчишкой, лихо гарцующим на коне с кавалерийской плеткой в руках. Или маленьким Моцартом, склонившимся над роялем в огромном мра-

морном зале с двустворчатými, скрытыми красной бархатной драпировкой дверями, из которых время от времени появлялась горничная в черно-белом наряде, с поздравительными посланиями на подносе.

Так сидел я, в мечтательной полудреме прислонясь головой к стропилу, когда в золоченое марево грёз ворвался вдруг женский голос.

– Ева-а-а! Вылезай из воды-ы! – донеслось из сада, с той стороны, где был теннисный корт.

Я подтянулся к окну, но густая зелень деревьев заслоняла соседний сад. Тем временем Ева, должно быть, выбралась из бассейна – вокруг опять воцарилось безмолвие.

Это имя вмиг лишило меня покоя.

Побросав все свои сокровища, я кубарем скатился вниз. В квартире, как всегда в дневные часы, стояла мертвая тишина. Старики отдыхали после обеда в самой дальней из комнат.

Они получали «Непсаву»², газету, которую дед постоянно выписывал еще с того времени, когда был подмастерьем. Всю жизнь проработав часовщиком, он испортил себе глаза и теперь не мог разобрать даже набранные аршинными буквами заголовки. Лет десять уже, как газету ему ежедневно читала бабка. Усевшись к окну, она цепляла на нос очки в проволочной оправе и принималась частить невнятной ско-

² Газета венгерских социал-демократов, в 1948 г., с установлением коммунистической диктатуры, преобразованная в печатный орган профсоюзов.

роговоркой. Дед, выказывая завидную выдержку или, может быть, просто смирившись с судьбой, слушал бубнившую, как пономарь, бабу, умудряясь при этом улавливать смысл прочитанного. Сама же она никогда ничего не запоминала, кроме разве что сводки погоды, да и то потому лишь, что утверждала, будто ее суставы предсказывают погоду лучше всяких метеосводок.

В послеобеденные часы в моей власти был целый мир. И пространство, и время. Я мог рыться сколько угодно в ящиках и читать упрятанные подальше от меня книги.

Сбежав вниз, я первым делом кинулся к платяному шкафу отца и выхватил из него несколько галстуков. Иначе как в галстук я и представить себя не мог, думая о возможной встрече.

Затем я бросился в сторону корта, но чем ближе к нему подбегал, тем медленнее становился мой шаг. Воображение уже рисовало мне Еву – гуляющей важно вокруг бассейна, с белым зонтиком, в красном тюлевом платье и соломенной шляпке, в точности как на картинке, виденной в каком-то романе для девочек. От волнения сердце мое было готово выскочить из груди. Крадущимися шагами я приблизился к изгороди и, раздвинув кусты сирени, окинул взглядом соседний сад, но никого не увидел там. Посреди сада на крутой каменной горке стояла вилла – почти сплошь застекленная, открытая ветрам и солнцу. Внизу находился бассейн, обрамленный бутовым камнем, а рядом еще один, чуть поменьше,

с плавающими на воде кувшинками.

Притаившись, я долго сидел за кустами. По ту сторону забора будто вымерло всё. Это лишь подстегнуло мою фантазию. Я представил, что Ева сидит теперь в комнате, затененной ставнями, и музицирует на рояле. Правда, музыки никакой слышно не было, но это ничуть не мешало мне фантазировать. Во всяком случае, до тех пор, пока из-за дома не раздался вдруг хрипловатый девчоночий голос.

– Гагушки, гагушки, гагушки! – донеслось до меня, потом показалась девчонка, она шла с пригоршней кукурузных зерен, а за ней семенили голодные гуси.

Вся процессия направлялась к ограде. Время от времени девчонка, дразня гусей, бросала им зернышко, те с шумом набрасывались на добычу, потом снова выстраивались за ней и семенили дальше.

Девчонка – мне даже и в голову не пришло, что это могла быть Ева, – шла босиком, ситцевая юбчонка, из которой она явно выросла, едва прикрывала ее голенастые ноги. Неподалеку от моего укрытия она высыпала наконец кукурузу на землю.

– Эй! – собравшись с духом, крикнул я из-за забора.

Она оглянулась. Мне казалось, девчонка должна удивиться.

Но на вытянутом лице ее было не удивление, а скорее враждебность.

– Чего тебе? – спросила она.

– Ничего.

– Тогда не подглядывай!

– Что, нельзя, что ли?

– Вот дурак, – фыркнула девчонка и отвернулась к гусям.

Я стушевался, но с места не двинулся. Она же, делая вид, будто смотрит за птицей, краем глаза следила за мной.

– Ты все еще здесь?! – раздался вдруг ее раздраженный голос.

– Ага, – совсем уже робко откликнулся я, заметив, что она направляется к дому.

– Я пошла! – через плечо бросила она на ходу.

– Не уходи, стой! – чуть ли не завопил я в отчаянии.

– Ну? – Девчонка остановилась и повернулась ко мне.

– Иди сюда, – осмелел я.

– Зачем?

– Надо поговорить.

Она молча двинулась в мою сторону. Я по-прежнему сидел у ограды на корточках.

– Садись.

Она села и, подоткнув под себя подол юбчонки, уставилась на меня. Мне снова сделалось не по себе, я смущенно поглядывал то на ее лицо, то на сдвинутые коленки. Глаза у нее были темно-карие, невозмутимые.

– Давай это... будем друзьями... – выдавил я из себя.

– Вот дурак, – фыркнула она опять. – Да ведь я девчонка, не могу я быть твоим другом.

Ее ответ меня поразил. Я не знал, что сказать, чувствуя, что, вообще-то, она права, но все же не мог согласиться с ней. Мы молчали. Девчонка все так же не отрываясь буравила меня взглядом, потом поднялась, отряхнула подол и таким тоном, будто мы были сто лет знакомы, бросила:

– Ну пока!

Мне очень хотелось ее удержать, но в походке девчонки было столько решительности, что я не осмелился это сделать.

3

Прихожая, как и все помещения в доме, была огромной и необычной. Мраморные полуколонны разделяли ее на две части. Налево от входа открывались три комнаты и гардеробная, а справа, там, где из стен выступали полуколонны, прихожая расширялась, образуя круглое помещение с необыкновенно высокими, от пола до потолка, окнами по одну сторону и мореной чердачной лестницей – по другую. Отсюда, из круглого этого холла, открывались двери на кухню, в кладовку и в комнатку для прислуги. К деревянной лестнице придвинут был крытый клеенкой стол с пятью стульями. За ним мы обедали.

Родители возвращались с работы поздно. Часов в восемь, а то и в девять на улице хлопала дверца машины, потом скрежетала калитка, и на пологой садовой дорожке раздавались легкие шаги матери. Я бежал открывать ей дверь. Чмокнув меня, она шла умываться, после чего мы устраивались с ней в гостиной. Пока бабушка разогревала на кухне ужин, мама штопала или вязала, ну а я рассказывал ей, что было в школе и как прошел день. Возвращалась она всегда первой, но ужинать без отца не садилась.

Так мы с ней коротали время, пока, спустя час или полчаса, не хлопала снова дверца автомобиля, затем калитка. На бетонной дорожке опять раздавались шаги, но не легкие,

как у матери, а стремительные и энергичные. Отцу всегда открывала мать, я же, стоя в дверях гостиной, наблюдал за их встречами, пытаясь засечь в полумраке прихожей момент поцелуя. (Эти встречи и вообще отношения между родителями возбуждали во мне любопытство.) Поздоровавшись с матерью и оставив под вешалкой свой портфель, отец – через гардеробную – отправлялся в ванную. По пути он трепал меня по вихрам и уже издали, обернувшись, спрашивал каждый вечер одно и то же:

– Ну что, старина? Как в школе?

Отвечать ему было необязательно. Да и как бы я смог ответить, если тем временем он уже мыл руки, потом подставлял под струю лицо, разговаривая одновременно с матерью. Все это было настолько привычно, что я не обижался и на большее с его стороны внимание не рассчитывал. Сколько я себя помнил, дальше этого не обязывающего к ответу «Ну что, старина?» его интерес ко мне не распространялся и как сына с отцом ничто другое меня с ним не связывало.

Остальную часть вечера я обычно молчал. Они разговаривали о политике, о работе, о сослуживцах, да с такой откровенностью, как будто меня тут и не было. Мне оставалось лишь слушать, не задавая вопросов, и мысленно рисовать себе тех людей, о которых они говорили. Роль немого участника их разговоров мне нравилась – ведь речь в них велась о министрах, секретарях, председателях.

Во время ужина, за которым я наблюдал, примостившись

на лестнице, их беседа не прерывалась. Иногда, отложив ложку в сторону и забыв о еде, отец раздраженным тоном начинал с кем-то спорить. В таких случаях мать, снисходительно улыбаясь, поднимала на него глаза, он спохватывался и снова брал в руки ложку.

Бабка стояла тут же, ожидая, когда они кончат есть и ей можно будет заняться посудой. И при этом пыталась вернуть свое слово – о том, что в магазине не стало уже и фасоли, и что мяса неделями не достать, и что в хлеб добавляют картошку, отчего он разваливается в руках... Она выкладывала все, что считала нужным, ничуть не смущаясь тем обстоятельством, что родители не обращали на нее никакого внимания.

Бабка – мать моей матери – была женщина невысокая, к старости располневшая. Привычная к домашней работе, на этот счет она никогда не жаловалась, хотя носить свое грузное тело ей было с годами все тяжелей. Она двигалась по квартире охая и побряхтывая, во время уборки то и дело хваталась за поясницу, а если нужно было поднять что-то с пола, то призывала на помощь себе всех святых. Она страшно гордилась дочерью и всякий раз, когда ей случалось оказаться в машине, прижималась лицом к стеклу, чтобы все могли видеть: дочь у нее – птица важная, даже мамашу катает в автомобиле.

Она когда-то служила горничной. Так с дедом и познакомилась, когда он, часовых дел мастер, чинил у статс-секрета-

ря часы с курантами. Зарабатывал он неплохо, так что бабка по его настоянию больше нигде не служила.

Она часто рассказывала мне о своей молодости. Ругала семейство статс-секретаря, но в конце обязательно добавляла: «А все-таки деликатные были люди».

С тех пор как мы переехали на один из будайских холмов, она чувствовала себя не в своей тарелке. Ей здесь не с кем было общаться. Вот она и взяла в привычку полдня проводить в магазине, забыв о распухших ногах и стоя в очередях за всем, что бы ни продавали. Дабы скрыть свое увлечение, она, раздобыв несколько яиц, потом жаловалась часами, как, мол, трудно все доставать. Каждому встречному она рассказывала о дочери, а поскольку знала о ней немного, то выдумывала всякие небылицы, иногда до того сживаясь с ними, что уже и сама в них верила.

Вот она подала второе: жареную картошку и цветную капусту в сухариках – вместо мяса.

Мать, протягивая ей пустые тарелки, пообещала:

– Хорошо, я узнаю, нет ли в городе мяса.

– Привези килограмма три, – оживилась бабка, – я его запеку, и тогда нам надолго хватит. – И направилась мыть посуду.

– Мама! – окликнула ее дочь. – Присядьте-ка на минутку, мне нужно вам кое-что сказать.

Бабка, откуда и прыть взялась, метнулась назад и сгрузила посуду на стол.

– Мы с Гезой тут посоветовались и решили нанять прислугу. Вам уже трудно с такой квартирой.

– Ну вот еще! Я и сама управлюсь, – запротестовала она, и в этом протесте были и радость, что вот, мол, заботятся о старухе, и ревность к той неизвестной, которая будет хозяйничать в доме, и опасение, что ей не на что будет жаловаться, и достоинство человека, который, несмотря ни на что, справляется со своими обязанностями, и благородство: мол, зачем швырять деньги на ветер, пока еще есть она.

– Об этом и речи не может быть. Завтра же девушка будет здесь! – отрезал отец раздраженным тоном, чтобы в корне пресечь дискуссию.

– Хорошо, – тут же смирилась бабка и с готовностью предложила: – Я с утра приберусь в ее комнатке...

– Она сама приберется, – перебил отец. – Хватит с вас, вы свое отработали.

Бабка удивилась, потом, видимо осознав свое новое положение, полюбопытствовала:

– А она хоть надежная?

– Почему бы ей быть ненадежной?! Деревенская девушка. Мне ее сослуживец рекомендовал.

– И сколько ей лет?

– Семнадцать.

– Беда с ними, с такими-то, – засомневалась вдруг бабка.

– Ну какая еще беда?! О чем вы?! – вспылил снова отец. – Уж как-нибудь проследим, чтобы не было никакой беды!

Она явится завтра к вечеру. Если к этому времени мы еще не вернемся, покажете ей тут всё.

– Хорошо, хорошо, я не против, хотя... Я ей все покажу... хотя неприятностей с молодыми не оберешься... за ними... – Она не закончила, умолкнув под властным взглядом зятя.

– Все будет в порядке, – словно сам себя успокаивая, сказал отец. – Мы постараемся не задерживаться. Зовут ее – Сидике Тот. Договорились? – И он принялся за еду, считая вопрос исчерпанным.

Бабка только вздохнула – в знак того, что она-то уверена, с молодыми всегда неприятности, и останется при своем мнении. Но, видя, что разговор окончен, поднялась и пошла мыть посуду.

Меня отправили спать. Постелив себе, я взял в руки книгу, но так и не смог прочитать ни строчки. Все пытался представить Сидике. Деревенскую девушку. О крестьянках до этого мне доводилось только читать. Вскоре я погасил свет и закрыл глаза. Но спать не хотелось. Я стал вслушиваться в знакомые вечерние шорохи. Вот под грузным бабкиным телом закрипела кровать, до меня долетели ее слова, обращенные к деду: она хвалила ему свою дочь, вот, мол, какая внимательная, жалеет ее. Что ответил ей дед, я не слышал – он говорил всегда очень тихо.

В ванной комнате заплескалась вода. По меняющемуся звуку падающей струи можно было следить за тем, как вода

заполняла ванну. Я слышал, как мать опустилась в воду, как бросила в мыльницу щеточку для ногтей, даже хруст полотенца, казалось, слышал, но это мне только казалось – все же стены были довольно толстые.

Бабка немного еще поворочалась, что-то еще сказала, мать, затворив дверь спальни, еще пошептала о чем-то с отцом, потом все постепенно затихло. Сквозь окутавшую дом тишину прорывался лишь отдаленный собачий лай да звучал где-то в городе заводской гудок.

На следующий день бабка встретила меня в дверях. Она велела мне вытереть ноги и потребовала, чтобы я не устраивал беспорядок в квартире. На ней было платье из черного шелка, подаренное матерью и надеваемое лишь по особо торжественным случаям, – я смотрел на нее и глазами хлопал от удивления.

Дверные ручки были до блеска надраены, кругом идеальный порядок, нигде ни пылинки.

Поторопив меня с обедом, она, стараясь не замочить свое платье, наскоро ополоснула тарелки. Потом с книгой в руках, чего за бабкой никогда не водилось, прошла в мою комнату и, даже не нацепив очки, устроилась с ней у окна. Только тут я сообразил, к чему это платье, и порядок, и чистота: из окна моей комнаты было видно калитку.

Я помчался опять в конец сада, к забору. Девчонка сидела на кромке бассейна – того, что поменьше, – и поддевала ногой кувшинки. Спрятавшись за кустами, я смотрел, как она растопыренными пальцами ноги, будто щипчиками, захватывала стебель, дергала, и цветок, описав дугу, шлепался далеко за ее спиной. Эту операцию она повторяла, пока всюду, куда могла дотянуться ее нога, вода не очистилась от кувшинок. Не зная, как начать разговор, я прокричал:

– Дай одну!

Она даже не обернулась, притворилась, будто не слышала, однако ногу из воды вынула. Я понял, что на сей раз застиг девчонку врасплох, и, чтобы закрепить успех, крикнул еще нахальней:

– Дай одну, слышь?

Она стрельнула в меня глазами и с таким видом, будто только сейчас заметила, протянула:

– А-а, это ты? Привет!

Потом собрала цветы, подошла к решетке забора, села и просунула мне одну кувшинку. Остальные же стала ошипывать по лепестку.

– Зачем портишь цветы? – спросил я.

– Низачем.

– Их ведь можно в вазу поставить.

– А мы в вазы цветы не ставим.

Я снисходительно усмехнулся:

– У вас, что ли, вазы нет?

– Да их у нас сколько угодно!

– А девушка у вас есть?

Мой вопрос привел ее в замешательство.

– А я кто? – спросила она.

– Ну, девушка, – повторил я, – которая вместо бабушки готовит и убирает.

Она понимающе усмехнулась и назидательным тоном сказала:

– То есть прислуга. У нас такой нет, мой папа не разрешает

маме работать, и она все сама дома делает.

– А моя мама работает. За ней даже машина приходит!

– И за папой моим приходит! А еще... а еще... – замялась девчонка, – когда надо, она и маму возит, если ты хочешь знать!

– А мой папа зато в министерстве работает!

– И мой тоже!

– Ну, значит, они равны, – констатировал я, но она не сдавалась.

– Нет, мой папа важнее, потому что у нас и дом красивей!

С этим трудно было не согласиться, но все же, как и днем раньше, признавать ее правоту не хотелось.

– Это ты – Ева? – спросил я.

– Ага, – кивнула девчонка. – Давай познакомимся?

Встав на цыпочки, мы через ограду протянули друг другу руки. Ладонка у нее была крепкая. Только теперь я заметил, что девчонка намного выше меня. Я долго не выпускал ее руку, держать ее было приятно.

– Пусти, – не выдержала она, – тут проволока с колючками!

Я опять сел на землю, но Ева моему примеру не последовала.

– Мне пора, – сказала она. – Приходи завтра к нам, поиграем во что-нибудь.

– У меня мяч есть, – вскочил я, обрадованный приглашением, – я принесу!

– У меня тоже есть, но приноси, если хочешь.

Наверху слышался стук калитки.

– Ну, я побежал, – сорвался я с места и, на бегу обернувшись, ликующе провозгласил: – До завтра!

– Ты меня у забора жди! – донеслось мне вдогонку.

Бабка все в той же каменной позе сидела у окна и, держа книгу в вытянутых руках, читала.

– Что, Сидике пришла? – спросил я, врываясь.

– Да нет, это соседка была, – бросила бабка с нескрываемым раздражением.

Разочарованный, я вышел из дома и устроился у подножия ограды поблизости от ворот. Послеобеденное солнце, отыскивая просветы в листве нависающих над асфальтом деревьев, бросало на дорогу веселые блики. Дорога просматривалась из моего укрытия до самого поворота, где она уходила к остановке фуникулера. По долетавшим досюда звукам можно было следить за движением вагончика между городом и вершиной холма, определяя на слух, когда он трогается и когда останавливается.

Время от времени я влезал на ворота, оттуда видно было еще дальше, а когда кто-нибудь показывался на дороге, то спрыгивал и прятался поскорей в кусты.

Девушка прибыла одна. На ней была широкая юбка, под которой угадывалось еще несколько нижних юбок, голову покрывал платок, завязанный у подбородка. В руке она держала продуктовую сетку с газетными свертками – в них, скорее всего, были скатанные – чтобы не помялись – платья. Она заглянула в сад, но меня не заметила; дойдя до ворот,

заглянула еще раз, потом отыскала глазами табличку с номером, расстегнула на блузке пуговичку и, вытащив из-за пазухи мятый клочок бумаги, прочла адрес, шевеля при этом губами. Затем снова взглянула на номер, все еще не решаясь взяться за ручку ворот, отступила, опустила авоську на землю и поправила на голове платок. Наконец она нашла кнопку звонка и дотронулась до нее пальчиком. Звонок в доме тут же откликнулся, но никто на него не вышел.

Я удивился, чего это бабка не спешит к воротам и даже не крикнет в окно «Входите, у нас не заперто!», как она всегда делала.

Девушка постояла еще немного, затем попробовала нажать ручку. Створка ворот подалась с пронзительным скрипом. Она испуганно вздрогнула, затем вошла и, осторожно закрыв ворота, неуверенно зашагала вниз по дорожке.

Как только она миновала мое укрытие, я вскочил, обежал дом и забрался в окно веранды. Подкравшись на цыпочках, заглянул в свою комнату: бабка как ни в чем не бывало смотрела в книгу, делая вид, что читает.

– Целую ручки! – останавливаясь у окна, приветствовала ее девушка. – Это дом Тилей?

Бабка подняла глаза, и лицо ее осветилось холодной улыбкой.

– Он самый, милая. Вы – Сидике Тот? Ну, заходите же! Сейчас я открою вам дверь, – сказала бабка и, еле передвигая ноги, двинулась в прихожую.

Обрадовавшись неизвестно чему, я шлепнулся на кровать и замер, прислушиваясь к ее голосу.

– Ставьте, милочка, вещи. Сейчас провожу вас умыться. Поди, устали в дороге. Как, легко нас нашли? Жить вы будете в этой комнатке. Ну, идемте... А как приведете себя в порядок, дайте знать, я представлю вас мужу и внуку...

Заслышав, что и меня будут представлять, я испугался, схватил с тумбочки книгу и, раскрыв ее наугад, стал водить глазами по строчкам. Конечно же, мне было не до чтения. Я ждал, когда распахнется дверь и появятся Сидике с бабушкой. Терпение мое быстро иссякло, я вскочил и выбежал в прихожую. Дед был уже там. Он улыбаясь подал Сидике руку, но ничего не сказал ей, лишь назвал свое имя. Потом дошел черед до меня. Сидике расплылась в улыбке и даже хотела погладить меня по макушке, но, поймав мой разгневанный взгляд, отдернула руку и только воскликнула радостно:

– Тебя Дюрка зовут?! Надо же, и братик мой тоже Дюри!

Тут неожиданно появились родители, застав всех нас в прихожей. Они поздоровались с девушкой. Отец, по обыкновению, коротко. Как обычно, он бросил мне: «Ну что, старина?» – и, давая понять, что прибытие Сидике ничуть не меняет его образ жизни, поставил портфель под вешалку и отправился в ванную мыть руки.

– Так я покажу ей квартиру, – сказала бабка, глядя на мать.

– Нет-нет, мама! – ответила та. – Идите лучше к себе, от-

дышайте, я сама ей всё покажу.

Бабка вымученно улыбнулась Сидике, затем зло и обиженно посмотрела на дочь и, оправив на груди свое черное платье, с подавленным видом поплелась к себе в комнату.

Меня отправили в сад, чтобы и там показать всё девушке. От этого поручения я так заважничал, что даже осанку переменил. Выломав тонкий пруттик, я шел, похлопывая им по ноге, будто хлыстиком. Сидике обращалась ко мне на «ты». Меня это задевало. И чтобы хоть как-то ей отомстить, я сказал, что такого чудного о, нелепого имени, как у нее, отродясь не слышал. Ожидаемого эффекта, однако, не получилось. Она просветила меня, что всем девочкам в их роду давали имя Сидония, и вообще, в их деревне оно очень даже распространенное.

Не такими я представлял себе наши с ней отношения. Еще немного, и она бы за ручку меня взяла! Но этот маневр Сидике не удался. Я отпрянул и побежал по присыпанной красным шлаком дорожке. Она – за мной. Думала, я в пятнашки играть с ней затеял. Однако, увидев мою перекошенную физиономию, похоже, сообразила, что никаких общих игр у нас быть не может.

В общем, странно мы с ней прогуливались.

При виде цветочных клумб она оживилась, стала деловито прикидывать, куда и какие цветы надо будет еще посадить, при условии, разумеется, что на это ей удастся выкроить время. Страх она уже не испытывала и выглядела довольно самоуверенной. Это тоже не соответствовало моим

ожиданиям. Мне хотелось, чтобы Сидике вела себя с той же робостью, как поначалу, перед воротами.

Она спросила, где у нас огород. Отдельно от сада, за живой изгородью из аккуратно подстриженной сирени, был небольшой участок, но мы им почти не пользовались. Весной родители посадили несколько грядок паприки и помидоров, в другом месте – немного картошки, но в конце концов поняли, что, даже если не пожалеть времени для окучивания, большого смысла во всем этом нет. Была уже осень в разгаре, а у нас только-только появился ранний картофель.

В конце огорода у забора стояла теплица, отапливаемая печкой; словом, даже не теплица, а настоящая оранжерея. Но и она никак не использовалась. За два года, что мы здесь жили, стекла ее повывлетели, каркас поржавел, отопительная система мало-помалу развалилась.

Сидике наконец очутилась в своей стихии. Она снисходительно улыбалась, глядя на худосочные, кое-как обработанные растения. Мысль о том, что ей предстоит привести это все в божеский вид, ее окрылила. Бесплезно было показывать ей после этого тюльпанное дерево, все в красных цветах, и плакучую иву, которая отважно устремлялась к небу, чтобы скорбно склониться затем до земли, – ее это не волновало. Все мысли и слова Сидике крутились вокруг огорода.

Между тем наступили сумерки, и мы вернулись в дом.

Мать разогревала на кухне ужин, отец сидел рядом и что-то ей говорил, но, едва мы вошли, он смолк на полуслове и

спросил, повернувшись к Сидике:

– Ну как вам понравился сад?

Девушка рассыпалась в похвалах, дескать, такого огромного сада она еще никогда не видела, чтобы столько разных деревьев было, а розы какие красивые, только вот... Она осеклась, но, подбадриваемая отцом, все же выдавила из себя, что огород у нас страшно запущен, но это, мол, поправимо, она вскопает его, по весне засеет, и не надо будет об овощах заботиться. Мать – она уже накрывала, – заслышав об огороде, решительно воспротивилась, заявив, что хватит с нееготовки да стирки-уборки, хорошо, если с этим справиться будет, а огород нам не нужен.

Категорический отказ матери девушку огорчил, и она все пыталась нас убедить, что не так уж и много времени он отнимет и что ей огород не в тягость будет, а в удовольствие.

На столе было шесть приборов. И пять стульев вокруг стола. Шестую тарелку мать поставила напротив лестницы. Мы сидели уже на обычных своих местах, только Сидике все бродила как неприкаянная между кухней и «столовой»: то соль принесет, то пожелтевшие зубочистки неизвестно где откопает и тоже на стол их поставит.

Бабка, неподвижно уставясь в тарелку, молча хлебала суп. Дед сидел во главе стола. К его молчаливости мы привыкли, у него была астма, и чем больше она его донимала, тем реже мы слышали его голос; только ввалившиеся глаза по-прежнему живо поблескивали на изможденном лице старика.

– Да сядьте же вы, – сказала мать девушке.

– Нет, нет! – запротестовала она. – Я на кухне поем, когда вы откушаете.

Я радовался, видя, как быстро слетает с нее самоуверенность.

– Вот ваше место! – шутливо скомандовала мать. – Вы что же думаете, что вас тут обедами будут кормить?!

Сидике, вконец стусевавшись, села на ступеньку, сняла тарелку со стола и пристроила ее себе на колени. Теперь не сдержался отец:

– Да ешьте спокойно. Ведь вы не прислуга у нас... отныне вы член семьи.

Сидике поставила тарелку на стол, но, чтобы дотянуться до нее, ей всем телом пришлось податься вперед. Ложку она держала, зажав в кулаке, и ела прихлебывая.

Наступила глубокая тишина. Родители хранили молчание. Только ложки позвякивали о края тарелок, да падали с тихим всплеском капли, срываясь с ложек, да Сидике с шумом втягивала губами суп. Звуки эти показались мне необычными. Я вскоре сообразил почему. До меня вдруг дошло, что я никогда не услышу больше, как обсуждают свои дела родители, и оборвется та тонкая ниточка, которая еще связывала меня с ними. А Сидике у меня над ухом, ни о чем не догадываясь, с шумом втягивала губами суп. Кроме этого звука, я уже ничего не слышал. Машинально поднося ко рту ложку и пристально глядя при этом на мать, я пнул под

столом девушку по ноге.

С перепугу она уронила в суп ложку. Суп брызнул мне на лицо.

– Извини... – повернулся я к ней, улыбаясь.

В пижаме и босиком я на цыпочках тихонько подкрался к Сидике и замер у нее за спиной. Она дошла уже до порога и, склонившись над плитками пола, выковыривала что-то из щели.

– Что ты делаешь?! – крикнул я. Она вздрогнула и бросила тряпку на пол.

– Не видишь? – спросила смятенно, но потом рассмеялась. – Напугал ты меня.

– Что, душа в пятки ушла?

– Даром что не пугливая.

– Может, и темноты не боишься?

– Нет. У нас электричества нету. Мне только на кладбище страшно бывает.

– А я и на кладбище не боюсь. Да нигде.

– Ты же парень. Тебе и не надо бояться, – сказала Сидике, выполаскивая в ведре тряпку, потом вылила воду и задвинула ведро под раковину. – Готово, – выпрямилась она. – А ты почему не спишь?

– Уснуть не могу, потому что... ты не сердись, что я тебе по ноге попал... так получилось... – невинно прикрыл я глаза ресницами, радуясь про себя, что говорю это так спокойно.

– Пустяки, мне вовсе не больно было, это я с перепугу

ойкнула.

– Хочешь, я тебе в ванну воды напущу? – спросил я.

– Не надо, я так помоюсь.

– А мы всегда в ванне моемся. Сейчас приготовлю. – Я прошел в ванную и надел оставленные там тапочки.

Сидике вошла следом.

– Вот, смотри, – показал я на газовый бойлер, – как зажигать надо. Сперва воду пускаешь, потом открываешь газ, а как ванна наполнится, то сначала закроешь газ, потом воду. – И несколько раз заставил ее попробовать. Когда вспыхивала горелка, она вздрагивала. Наконец ванна была готова.

– Ну, иди, – сказала она смущенно, – я раздеваться буду.

– Я и здесь могу постоять.

– Нет, не можешь.

– Мне мама всегда разрешает.

– А я нет... ну, иди же... слышишь... – упрашивала она меня.

– Так и быть, – уступил я великодушно и пошел к себе в комнату. Там, присев на кровать, наострил уши в ожидании знакомого всплеска. И одновременно натягивал кеды. За стенкой родители о чем-то тихо переговаривались. Я подошел к их двери, подумал: может, войти? Но они, конечно, погнали бы меня спать, и вообще они не любили, чтобы я к ним совался по вечерам. Хотя в этот день мы и словом не перемолвились. Я прильнул ухом к двери. Они, видимо, уже улеглись: голоса их звучали глухо, будто из-под натяну-

тых до самого рта одеял. «...И крестик на шее носит...» – расслышал я голос отца. «Ну и что?.. Главное, чтобы с работой справлялась», – ответила мать. «Надо бы с ней заниматься хоть иногда...» – «Где же время-то взять? Впрочем, если только ты сможешь?!.»

Из ванной послышался всплеск воды. Я тихонько, стараясь не скрипнуть, прошел на веранду. Окно там было распахнуто. Я выпрыгнул в темноту и долго стоял на клумбе с петуниями, увязнув по щиколотку в земле. Ночь была влажная, теплая, с застывшими без движения облаками. Насторожившись, я всматривался широко раскрытыми глазами в две белеющие неподалеку фигуры и, хотя знал, что это всего лишь мраморные цветочные вазы, почему-то ждал, что они вот-вот дрогнут и шагнут мне навстречу. Но кругом было тихо, лишь ветер чуть пошевеливал на деревьях листву.

Наконец я спустился с клумбы, больно ударившись при этом ногой о какой-то камень. В спальне родителей погас свет. Я снова насторожился, подождал немного и затем, спотыкаясь, нащупывая ногами дорожку, двинулся вокруг дома.

Из окна ванной комнаты, прорезанное линиями фигурной решетки, на траву падало пятно света. Завидев надежный ориентир, я чуть было не пустился бегом. Под окном же остановился и снова прислушался к ночным звукам, однако сквозь лай перебрехивающихся собак и отдаленные шумы города ни малейшего шороха, который бы выдавал присутствие Сидике, так и не разобрал. Окно взирало на меня боль-

шим и холодным стеклянным глазом. Мне хотелось увидеть хотя бы размытую тень на узорчатых стеклах, но сквозь них сеялся только ровный свет.

Два нижних стекла в окне ванной были матовые с орнаментом, а две форточки сверху застеклили прозрачными. Заглянуть в них можно было, лишь встав на вторую от подоконника перекладину оконной решетки. Я подпрыгнул. Вцепился в холодную ржавую железяку и, подтянувшись, уперся ногой в карниз. В этот самый момент по стеклу пробежала тень. Я замер, не смея дохнуть, думал, меня застукали, но, оправившись от испуга, сообразил, что это Сидике распрямилась в ванне. «Этак я еще лучше ее разгляжу!» – мелькнуло у меня в голове, и я встал на первую поперечину. Нужно было карабкаться дальше. Однако страх не пускал. А любопытство подстегивало. Наконец я все же поднялся выше. Теперь оставалось лишь разогнуться, и вся ванная была бы передо мною как на ладони. Но я не мог шевельнуться, ноги подкашивались, и руки будто приклеились к холодным, осыпающим ржавчину прутьям решетки. Не знаю уж почему, мне вспомнилась вдруг мотыга с заточенным сверкающим лезвием и гладким, удобно лежащим в руке черенком, а еще – неподвижно застывшие, умоляющие глаза Меты. Я теперь уже слышал, как возится в ванной Сидике, улавливал (или это мне только чудилось) знакомые чмокающие звуки намыливаемого тела, но мысли мои все возвращались к Мете, мне виделось ее тельце с запекшейся кровью на шерсти, с

налипшей на ранах соломой и слышался голос матери и мой собственный, идущий откуда-то издали голос:

– Тебе не противно? – спрашивал я у матери, которая, ополаскивая губку в тазу, бережными движениями промыла собаке раны.

– Это что! – оторвавшись, глянула она на меня. – И не такое пришлось повидать! При разборке руин, помню, мерзлые трупы на санках возила.

– Когда? – недоверчиво спросил я и услышал ее слова, сказанные назидательным тоном, с чувством какой-то веселой гордости за пережитое:

– Когда нас освободили.

В ванной сильно плеснуло, и размытая тень, маячившая на матовом стекле, снова выпрямилась. Сидике, как я догадался, вышла из ванны, потом тень склонилась и раздался шум устремившейся в сток воды. От этого звука меня так и подбросило. В панике, боясь упустить момент, я стремительно разогнулся, и лицо мое, тут же взмокшее от волнения, поравнялось с форточкой.

Сидике стояла у ванны на деревянной решетке. Протянув руку назад, она взяла полотенце и, как-то странно скомкав его, вытерла сперва шею. На губах ее играла улыбка. Вот она уложила косы венчиком на затылке и, повернувшись, открылась мне всеми прелестями, всеми сдержанными, пастельными красками своего свежего тела. Затем, растянув полотенце, принялась вытирать спину. При этом она запрокину-

ла голову, и взгляд ее, скользнув по стеклу, вперился прямо в мои глаза.

На какое-то время, пока сквозь испуг до сознания не дошел смысл случившегося, мы оба оцепенели. Потом с губ ее сорвался какой-то невнятный стонущий звук. Она прикрыла губы ладонью, продолжая смотреть на меня беспомощными, округлившимися от страха глазами.

Я, судорожно вцепившись в прутья, всем телом вдавился в решетку окна. Сидике съежилась, пытаюсь хоть как-то прикрыть свою наготу, что-то крикнула мне приглушенным, каким-то утробным голосом. И то махала рукой в мою сторону, мол, уйди, я не выдержу, завизжу, то в страхе хваталась опять за грудь, закрывая ее от меня.

В глазах у меня помутилось, и я, то ли спрыгнув, то ли сорвавшись с окна, как подкошенный рухнул на землю. Ощущение было такое, будто мне перебили все кости. От мысли, что она может наябедничать родителям, всего меня с головы до пят пронзил небывалый, панический ужас.

Не разбирая дороги, я бросился в ночной мрак. Страх темноты был подавлен другим, еще большим, вселившимся в меня безотчетным страхом.

Очнулся я у себя в постели. В комнате Сидике хлопнула дверь. Я попытался представить себе ее обнаженное тело, но увидел только ее беспомощные, умоляющие глаза. И опять содрогнулся, и страх возбудил во мне отвращение к этому телу и к этим глазам.

Вырезав в продуктовой сетке дыру, мы натянули ее между сучьями и стали бросать мяч «в корзину». Ева вела в счете. Она разбегалась, подпрыгивала как на пружинах и, вскинув над головой свои длинные руки, легко забрасывала мяч. Исторгнув радостный вопль, она объявляла счет. Я подскакивал к дереву и ловил выскальзывающийся из сетки мяч. Теперь очередь была за мной.

По тому, как тряслись у меня поджилки, я уже знал, что бросок не удастся. С замиранием сердца я отбегал назад, отталкивался от земли и, притворяясь, будто считаю шаги, бежал к сетке. По мере того как я приближался к ней, у меня отлегалось от сердца, я уже видел себя свободно парящим в воздухе, но в последний момент, удерживаемый какой-то силой, останавливался как вкопанный и глазел на корзину.

– Ну... давай же!.. Оп-ля!.. – самоуверенным тоном подбадривала меня Ева.

Мне так и хотелось залепить мячом в ее вытянутую на-смешливую физиономию, но этот порыв оставался лишь внутренним побуждением. Я так же самоуверенно улыбался ей и кричал, кривя губы:

– С ноги сбился!

Затем возвращался на место, опять разбегался, теперь уже вслух отсчитывая шаги, и, оттолкнувшись одной ногой,

взмывал в воздух. В эту минуту я словно раздваивался. Видел себя, нескладного, неуклюже подпрыгнувшего коротышку, как бы со стороны, сквозь глумливый прищур Евиных глаз. И видел одновременно Еву, ее нахмуренное лицо, а также корзину, в которую нужно было забросить мяч. Мяч опять летел мимо. Ева с визгом бросалась за ним, крича:

– Сейчас я! Посмотри, как надо! – И забрасывала мяч.

У нее уже было сорок очков, у меня же не было и десятка, когда я предложил перерыв. Мы повалились с ней у ограды на хрустящее покрывало опавших листьев и, с трудом переводя дыхание, уставились в залитое золотистым светом небо. Ева сильно вспотела, но ее запах, хоть я и был привередлив на этот счет, меня не отталкивал. Я с шумом втягивал в себя воздух, стараясь привлечь ее внимание, но она и ухом не вела. Тогда я скосил на нее глаза. Ева лежала зажмурившись. Ее лоснящаяся, с желтоватым отливом кожа была усеяна крохотными жемчужинками. Вдыхая, она широко раздувала ноздри. Вздернутая верхняя губка то и дело отрывалась от нижней и, будто клапан, выпускала наружу воздух. Я смотрел, как по гладкому лбу девчонки скатываются жемчужинки, вползают в раковину чуть вдавленного виска и исчезают затем в густых рыжеватых ее волосах.

На душе у меня было легко и чисто. Мне вдруг захотелось склониться над ней и кончиком языка прервать путь одной из крохотных скатывающихся жемчужинок. Но не успел я подумать об этом, как Ева заговорила:

– Все равно я тебя обставила. Конечно, тебе трудней, ты все-таки ниже меня, и к тому же я лучше прыгаю. Наша учительница физкультуры сказала, что я очень прыгучая. – Она говорила, не открывая глаз, ресницы неподвижно лежали на шелковистой коже лица. Она говорила спокойно, густым низким голосом и настолько уверенно, что мне и в голову не пришло возразить.

Я лежал и думал о том, до чего она все-таки сильная и спокойная и как крепко она забрала меня в руки. И тихонько придвинулся к ней поближе. И тоже сомкнул глаза, наслаждаясь прикосновением ее влажной разгоряченной кожи.

Она шевельнулась. Сухая листва под ней хрустнула, и я испугался, как бы она не отодвинулась. Но Ева, напротив, еще теснее прижалась ко мне. Я даже дыхание затаил.

– Хорошо, – беззвучно шепнул я, думая, что она не слышит, но она, наверное, каким-то особенным, шестым чувством меня поняла, губы ее дрогнули и раскрылись в оборотительнейшей улыбке. Я повернулся и, осторожно обняв ее, притянул к себе. Ева безропотно повиновалась, открыла глаза.

– Хорошо, а? – снова шепнул я, заглядывая ей в лицо. Она кивнула, все так же очаровательно улыбаясь.

– Я тебя очень люблю, – вырвалось у меня.

– И я тебя, – откликнулась Ева, но едва она это сказала, на лице ее промелькнуло прежнее, бесследно исчезнувшее, как мне думалось, жесткое выражение.

Обхватив ее голову, я прильнул к ее рту губами, но ничего особенного не почувствовал. Тогда я отпрянул и снова припал к ее рту, поводя головой точно так, как это делала иногда моя мать, стоя с отцом в полумраке прихожей. И опять ничего не почувствовал. Ева попыталась было разомкнуть губы, но я с еще большей силой притиснул ее к себе. Она вырвалась и вскочила на ноги. Я поднял глаза, ожидая увидеть смятение и растерянность на ее лице, но на меня, презрительно усмехаясь, смотрело лицо прежней Евы.

– Да ты целоваться-то не умеешь! У нас в Наметладе все мальчишки умели, – сказала она, подхватила мяч и, отбежав на дорожку, стала стучать им о землю.

Я не знал, что значит уметь целоваться, однако подумал: ну, раз не умею, так пусть научит, у кого же еще мне учиться, если не у нее. Но стоило мне увидеть, с каким безразличным видом стучала она мячом по дорожке, как всякая охота брать у нее уроки тут же пропала. Я лежал на траве в той же позе, в которой она оставила меня, вырвавшись из моих объятий.

– Матч-реванш! – неожиданно крикнула Ева таким тоном, будто ничего особенного не случилось, и скинула мяч над головой. – Ну, иди же! – позвала она. – Сколько можно валяться?!

Я знал, что соорудить любую мину мне ничего не стоит, однако на этот раз как ни в чем не бывало подняться и продолжить игру было нелегко. Не зная, как выйти из этого затруднения, я нехотя встал на одно колено и вдруг, вдохно-

вившись внезапной идеей, принялся отжиматься.

Ева немедленно оказалась рядом.

– А ну, кто больше? Давай померимся, – предложила она и, шутя отталкивая от земли свое легкое тело, стала громко считать.

При счете «шесть» я с трудом разогнул локти, руки мои дрожали. Чтобы отжаться в седьмой раз, пришлось собрать всю свою силу воли, на восьмой же, едва оттолкнувшись, я почувствовал, что суставы мои вот-вот вывернутся, и, обесиленный, плюхнулся на живот.

– Десять... одиннадцать... двенадцать... – досчитала Ева и тоже остановилась.

– И тут я тебя обошла! – С этими словами она сцепила руки над головой и покатила по склону, выкрикивая прерывистым голосом, умолкавшим, когда лицо ее поворачивалось к траве:

– Неси... сюда... мяч... – все быстрее катилась она. – Еще... по...бро...са...ем...

Потом, запыхавшись, вскочила на ноги и, отряхивая юбочку, недовольно прикрикнула:

– Ну, скорей же!..

– Не могу, я устал! – решительно заявил я, надеясь, что она успокоится, но девчонка язвительно рассмеялась:

– Что, уморился? Эх ты, слизняк! Эх ты, баба!

Кровь бросилась мне в лицо.

– А ты... ты уродина! – в бешенстве заорал я. – И мать

твоя тоже уродина!

Она застыла как вкопанная, лицо ее приняло жесткое выражение; пригвоздив меня взглядом к земле, она медленными, размеренными шагами двинулась в мою сторону с таким видом, словно была совершенно уверена, что мне от нее никуда не деться и я буду безропотно ждать ее приближения.

– Что, что, что? – шипела она при этом.

Я не видел перед собой ничего, кроме ее устрашающих глаз. Во мне клокотала бессильная злость. На траве поблизости от меня лежал ее пестрый, в горошек, мяч. Я поднял его и крикнул еще раз:

– И мать твоя тоже уродина!

– Как ты назвал мою маму?

Я отступил, размахнулся и что было сил швырнул ей в лицо мячом. В последний момент она заслонила глаза рукой, но это не помогло. Она пошатнулась и в ярости бросилась на меня.

– Ах ты, скотина! Говнюк! – вопила девчонка.

Повернувшись, я кинулся со всех ног к забору, продрался через кусты и шмыгнул было в лаз, но рубашка моя зацепилась за проволоку, и как я ни дергал ее, как ни крутился, все было бесполезно. Ева подбежала, я уже слышал ее отвратительное посапывание – и рванулся, оставив на проволоке здоровый лоскут материи. По инерции меня пронесло до самого корта, там я остановился и посмотрел назад. Перегнувшись через ограду, девчонка кричала мне тоненьким голосом.

КОМ:

– Вот увидишь, я все расскажу отцу! Он тебя арестует! Он тебя арестует!

Дверца машины хлопнула в этот день раньше обычного, и по бетонной дорожке застучали поспешные шаги матери. Я, еще не отделавшись от испуга, лежал ничком на кровати. Шаги ее звучали все ближе, но я не спешил открывать ей. Мать дошла уже до моего окна, ее тень проплыла сперва по одной, затем по другой его створке.

Рука моя шевельнулась, я хотел было встать, побежать ей навстречу, расплакаться или молча прижаться к ней головой и обо всем рассказать – о Сидике, о своих страхах, о том, как я целовался, – но разум велел мне лежать спокойно. Все равно ведь она войдет! Присядет ко мне на кровать, обнимет за плечи и, притянув к себе, спросит: «Что с тобой происходит, Дюрика?»

Но вот звякнул замок, дверь захлопнулась, и послышался голос матери.

– Мы сегодня идем на прием, – торопливо сказала она Сидике, – к ужину нас не ждите!

И вдруг я уловил свое имя из уст Сидике, в глазах у меня потемнело, внутри что-то оборвалось, будто кто-то железной рукой ударил меня под дых.

Стало тихо. Я лежал, боясь шевельнуться. За воротами сада монотонно урчал мотор. В ванной хлынула из крана вода и неровной струей забарабанила по эмали. Затем мать вози-

лась в спальне. Наконец она заглянула ко мне и, бесшумно приблизившись, тихо спросила:

– Ты спишь?

– Нет, – сказал я с деланным равнодушием в голосе.

– Тогда почему лежишь? – уже громко спросила она.

– Просто так.

– Голова болит?

– Нет.

– Ну ладно, захочешь – потом расскажешь. Меня дядя

Шани ждет у ворот. Нас с отцом на прием пригласили.

Я понял, что теперь ей уже ничего не расскажешь. И поднял глаза. Она была в темно-синем костюме и белой блузке.

– Посиди хоть чуть-чуть! – взмолился я. Мать нервно присела на край кровати, погладила мои волосы и спросила:

– Что с тобой?

– Ты такая красивая, я тебя так люблю! – вырвалось у меня, и я ткнулся ей головой в плечо. Она обняла мою голову, глянула на часы и вскочила.

– Надо бежать! Еще опоздаю, меня там отец ждет. А Сидике, между прочим, жалуется, что ты чечевицу не ешь!

– Врет она.

– Ты как это разговариваешь?

– Как умею.

– Еще не хватало мне твои дерзости слушать!

– Ну присядь еще на минутку, – опять заканючил я.

– Да пойми же ты, я опаздываю!

– Ты все время опаздываешь, все время куда-то несешься! – На это ответить ей было нечего, она только попросилась и, обернувшись в дверях, сказала:

– Пожалуйста, слушайся Сидике и доешь чечевицу!

Дверь закрылась. Под окном, а затем по дорожке сада простучали ее каблучки. Дядя Шани нажал на газ, и машина, взревев мотором, отъехала.

Я вышел в кухню и сел неподалеку от Сидике. Наклонившись над раковиной, она мыла посуду. Маленький крестик, свисавший на золотой цепочке, покачивался в такт движениям ее рук. На меня она не смотрела, продолжала отдраивать дно пригоревшей кастрюли. От резких движений длинная темная коса ее то и дело сползала на грудь, она испуганно встряхивала головой, и коса отлетала за спину.

– Ты что, в Бога веришь? – поинтересовался я.

Сидике шаркнула еще раз-другой по дну кастрюли, потом опустила руки и, прислонившись к краю умывальника, пугливо уставилась на меня.

– Н-нет... – сказала она заикаясь.

– Тогда зачем крестик на шее носишь? – торжествующе спросил я.

– Мне его матушка подарила на конфирмацию.

– Ну а зачем же ты носишь его, если в Бога не веришь? – не отступал я.

Она не ответила и принялась опять за кастрюлю.

– Вот видишь значок Ленина? Если бы я коммунистом не был, я бы его не носил.

– Неужто и ты коммунист? – удивилась она.

– А как же! – ответил я с гордостью. – В том и разница между нами, что ты верующая, а мы коммунисты. Да призна-

вайся уж, что ты верующая... я тоже, если ты хочешь знать, Закон Божий учил.

Она подняла на меня глаза, и я заметил в них удивленный вопрос: «А что, разве и коммунисты должны изучать Закон Божий?»

– Потому что тогда это было еще обязательно, – пояснил я.

Наступило молчание. Меня раздражало, что мне не к чему больше придрасться, и немного спустя я опять спросил у нее, но уже утвердительным тоном:

– Так, значит, ты веришь в Бога.

– Да, – ответила Сидике и гордо вскинула голову.

Я обрадовался такому ответу и тут же набросился на нее:

– Тогда зачем же ты ябедничаешь?!

– Я?

– И лжешь к тому же.

– Я не лгу, этого не бывало.

– А кто же тогда сказал матери, что я не ел чечевицу? Я ведь ел! Значит, ты солгала.

– Я это потому сказала, что ты только поковырялся в тарелке и бросил.

– Все равно зачем лжешь? Разве боженька твой тебе это не запрещает?

Она судорожно сглотнула, не зная, что мне ответить. В кухню шаркающей походкой вошла бабка и, подперев сложенными руками свою могучую грудь, остановилась около

Сидике.

– Как управитесь, милочка, возьметесь белье гладить, – сказала она.

– Меня барыня на сегодняшней вечер освободила, потому что я в воскресенье понадоблюсь, будут гости...

Бабка бросила на нее разгневанный взгляд и не думая сдавать позиций.

– Во-первых, она не барыня, сколько раз можно вам говорить? Во-вторых, выходной вы получите завтра, а сегодня нужно погладить белье.

– Я не против, я вовсе не потому сказала, – оправдывалась Сидике, – просто такое мне указание было...

– Ты приготовил уроки? – смягчившись, обратилась бабка ко мне.

– Нет еще. А кто к нам опять придет? Что за гости?

– Почему я знаю! – проворчала она обиженно. – Разве мать твоя мне докладывает?.. Иди-ка ты заниматься, Дюрика.

– Опять Пожгаи явятся... Они думают, что у нас тут дом отдыха, – процедил я сквозь зубы, словно бы не расслышав бабкиного призыва заняться уроками.

– Я тебе что сказала?! – вдруг вспылила она.

– Да сделаю я уроки! Отстань от меня!

– Это что же такое детсяя?! Уже и тебя не тронь?! Хорошо, я отстану... и этот уже огрызается... отстань от него... – фырчала она, удаляясь из кухни.

Сидике молча домыла посуду. Затем вытерла стол и рас-

стелила на нем одеяло. Слушая, как тихонько потрескивает греющийся утюг, она сидела на табуретке, уронив руки в подол.

– Надо водой побрызгать, – сказал я.

– Что-что? – встрепелась Сидике.

Я поднялся и показал ей, как надо делать. Она тяжело вздохнула и, тоже поднявшись, с равнодушным лицом побрызгала на белье водой. Сделав девушке еще какое-то замечание, я пошел к себе в комнату заниматься. Но из этого ничего не вышло. Меня потянуло к людям, хотелось с кем-нибудь поделиться, излить душу. Тишина нестерпимо звенела в ушах. Я заглянул к старикам. Дед сидел у окна, облокотившись о батарею, и внимал заунывному чтению бабки. Постояв на пороге их комнаты, я почувствовал, что от невнятной бабкиной скороговорки на душе стало еще тревожней, и, закрыв потихоньку дверь, отправился в сад.

Делать здесь мне было нечего, я бесцельно бродил по дорожкам. И немного спустя оказался – конечно же, не случайно – у кустов, ограждавших теннисный корт. Сердце в груди у меня бешено колотилось. В постепенно сгустившихся сумерках я увидел сквозь кроны полураздетых деревьев, как в окнах Евиной виллы зажегся свет. «Должно быть, вернулся с работы ее отец, и сейчас меня арестуют!» – подумал я, и только пятки мои засверкали. Добежав до ворот, я вскарабкался наверх и выглянул на дорогу, но кругом было тихо. «Значит, это не он, иначе машина проехала бы обратно

и я успел бы ее заметить!» – пытался я себя успокоить, но в ушах так и звенел тоненький голосок негодующей Евы. Я прыгнул на землю и помчался во весь опор домой.

В нашей гостиной одна из стен была сплошь заставлена шкафами с книгами. Я решил покопаться в книжном старье, сваленном в дальнем шкафу. Родители держали здесь какие-то семинарские пособия и брошюры, дешевое чтиво в пожелтевших бумажных обложках и несколько нравоучительных книжек для девочек – словом, все, что отжило свой век, утратило актуальность – и, стало быть, ценность.

Встав на выступ книжного шкафа, я дотянулся до верхнего ряда и выудил из-за него книгу в черном кожаном переплете с тисненной в правом верхнем углу золотой надписью: «Святая Библия». Книгу эту я брал в руки всегда с любопытством и тайным трепетом, не раз принимался читать ее, она меня привлекала, потому что будила воображение, и не только поэтому...

Помню, как-то я долго прохаживался у собора. Задрал голову, разглядывал башни, манившие в поднебесную высь. Я знал, что в храме этом меня крестили, и все же войти не решался.

Усевшись неподалеку на бордюр тротуара и положив мяч к ногам, я стал наблюдать за темным сводчатым входом, от которого даже на расстоянии тянуло прохладой.

Мимо, постукивая высокими каблучками, просеменила крашенная блондинка. Я узнал в ней соседку, она жила прямо

под нами, на третьем, и поздоровался. Кивнув мне в ответ, она скрылась в церкви.

Я тут же схватил мяч под мышку и устремился за ней. С трепетом приоткрыл тяжелую дверь, вошел внутрь и остановился. Соседка же, подойдя на минуту к чаше со святой водой, двинулась по проходу между рядами терявшихся в полумраке скамей. Я прислонился к холодной колонне и стал за ней наблюдать.

Она уверенно, как будто была у себя дома, подошла к какому-то святому с запрокинутой головой, перекрестилась и, став на колени, забормотала что-то с потупленными глазами. Продолжалось это совсем недолго. Вскоре она поднялась и направилась к выходу.

Я испуганно оглянулся, не зная, куда мне спрятаться, но было поздно, она уже углядела меня.

– Как ты смеешь являться сюда в таком виде? – прошептала она, поравнявшись со мной. Я окинул глазами свою замызанную одежду, подождал, пока женщина скроется, и выскользнул из собора.

Библию мать купила в сорок четвертом году. Отец вместе с тремя товарищами и типографским станком был замурован тогда в подвале неподалеку от набережной Дуная. С внешним миром их связывало единственное окно, через которое мать сбрасывала им по вечерам еду, а по утрам принимала от них листовки. Глухая стена, где было это окно, выходила в безлюдный проулок – однажды отец показал мне

его. Обычно мать останавливалась здесь и, убедившись, что вокруг ни души, бросала им что-нибудь вниз через выбитое стекло. Это был знак, что она готова принять листовки. Сверток с ними тут же оказывался рядом с ее корзиной, она прятала его под зелень или смешивала с другими свертками, укладывала сверху Библию и как ни в чем не бывало продолжала свой путь.

Они даже словом перемолвиться не успевали – действовать приходилось молниеносно, постоянно рискуя, что их заметят из дома напротив, подсобные помещения которого окнами выходили в проулок.

Затем мать садилась в трамвай и, прижимая к себе корзину, тряслась на задней площадке – образцовая с виду хозяйка, которая и продуктов сподобилась невесть где раздобыть, и в церковь поспела. На шее у нее висел бабкин крестик на тоненькой золотой цепочке. Так и ехала она до самого дома, обмирая от страха.

Как-то раз в трамвай сел священник в черной сутане. На задней площадке они оказались вдвоем. У родителей же в свое время было нечто вроде игры – при встрече с попом или трубочистом тут же хвататься за пуговицу. Мать, мельком взглянув на вошедшего, потянулась невольно к пуговице. Молодой пастырь заметил ее движение, перевел взгляд на Библию и наконец с таким выражением, словно хотел загипнотизировать, заглянул ей в лицо. Она опомнилась и чуть было не расхохоталась истерическим смехом. Священ-

ник шагнул ей навстречу и, продолжая смотреть в ее смеющиеся глаза, сказал укоризненно:

– Нельзя быть такой суеверной, сударыня!

Трамвай подошел к остановке. Чувствуя, что вот-вот разразится смехом, мать стремительно повернулась и, едва не сбив с ног священника, выпрыгнула в последнее мгновение вместе с корзиной, в которой таились спрятанные под Библией прокламации...

Пристроившись в уголке кресла, я перелистывал легкие, как пушинка, страницы. Искал десять заповедей. На некоторых абзацах я останавливался, затем с лихорадочной быстротой листал дальше, однако такого, чтоб запрещалось ябедничать или врать, так и не обнаружил. Мне что-то припоминалось насчет Иуды, но каким образом связано это имя с враньем, я понятия не имел. Из десяти заповедей на ум пришло одно только «Не убий!». Эти два слова так и стучали у меня в мозгу. Я все быстрее перекидывал страницы, задерживаясь только на тех местах, где разъяснялось, кто от кого зачал и кто кого породил. Затем вскочил и, держа в руках Библию, пошел в кухню.

Сидике гладила. Из-под утюга вырывались клубы жаркого пара.

– Это что? – положил я книгу на стол.

Она долго молчала, глядя на лежащую перед ней книгу и словно бы опасаясь очередного подвоха с моей стороны, потом выдавила наконец:

– Это Библия...

– Вот видишь! И в ней тоже сказано, что нельзя врать! В твоей драгоценной Библии!

– Дюрика, не мешай мне гладить... – беззлобно сказала она.

– Врать горазда! А как отвечать – так сразу же не мешай... Ишь ты какая! – накинулся я на Сидике. Она посмотрела на меня умоляюще, я ответил ей гневным, колючим, безжалостным взглядом.

– А ведь я даже не сказала барыне, что вчера ты за мной подсматривал... и насчет чечевицы я вовсе...

– Ха-ха! – нагло расхохотался я. – С чего это ты взяла, будто я подсматривал! Где? Когда? Ты все врешь опять, сочиняешь! И сраная твоя Библия тоже врет!

Страх и злоба прорвались во мне, я схватил черную книгу и давай рвать страницы, при этом вопя:

– Вот тебе... получай... дерьмо... будешь знать... как врать... получай!

Оставив утюг, она вырвала у меня Библию и прижала к груди.

– Ты зачем это делаешь? – спросила она сдавленным от испуга голосом.

Я набросился на нее, выхватил книгу и шмякнул ее об стену. Библия отскочила и, прошелестев страницами, распласталась в углу.

– Ты зачем надо мной измываешься? – заплакала Сидике.

Потом подошла к Библии, подняла, отряхнула ее и унесла к себе в комнатку. Дверь она не закрыла, и я слышал, как она всхлипывает.

Рядом со мной на столе задымилась бабкина ночная рубашка. Я не пошевелился. «Пусть горит!» – подсказывала мне какая-то неопределенная жажда мести. Кому мстить, за что мстить – этого я и сам не знал, только чувствовал, как лицо мое исказилось от злости. У краев утюга нежно-розовая фланелька постепенно превратилась в коричневую. Меня это успокоило. Я подошел к ее комнате и внятнм, чеканным голосом прокричал:

– В доме пожар!

Она сидела на краешке кровати, держа на коленях Библию. На этот раз Сидике даже не взглянула на меня: видимо, думала, что сейчас последует какое-то новое издевательство, и приготовилась встретить его безропотно, не оказывая сопротивления.

– Ты что, не слышишь? Рубашка горит! – заорал я.

Она вскочила, сунула Библию под подушку и бросилась в кухню. Контуры утюга между тем оплыли уже густо-коричневым ободком.

– Вот видишь? – насмешливо сказал я.

Она застыла в оцепенении у стола, глядя на вырывающиеся из-под утюга бурые струйки дыма. Овал чистого, светлого лица Сидике вспыхнул вдруг кумачом. Красота его бросилась мне в глаза. Я схватил утюг и грохнул его на решет-

чатку подставку. Она этого словно бы не заметила – безжизненный взгляд ее был прикован к коричневому пятну.

Немое потрясение девушки подействовало и на меня. Я тихонько погладил ее по запястью.

– Сидике...

Рука ее дрогнула, протянулась к пятну и ощупала его. Я погладил чуть выше. Светлые пушинки у нее на руке едва уловимо потрескивали. Внезапно она обхватила ладонями мою голову. Заглянув ей в лицо, я увидел, как из уголков ее широко раскрытых глаз медленно выкатились две слезинки. И прижался к ее груди.

– Сидике...

– Говорила мне матушка... – голос ее прервался, потом зазвенел фальцетом, – чтоб беды какой не наделала...

– Сидике...

Я погладил ее по лицу, по мягкой, бархатной шее, коснулся даже груди. Заплаканные глаза девушки испуганно встрепенулись. И она оттолкнула меня.

– Дура... – проворчал я, озлобленно посмотрев на Сидике, развернулся и вышел из кухни.

– Ты чем это занимаешься целыми днями? – прервав жестом бабкино чтение, укоризненно спросил меня дед.

Я валялся на их кровати и глазел в потолок. Отвечать не хотелось. «Да ничем я не занимаюсь, – подумал я про себя, – с тоски подыхаю. Хоть бы случилось что!» И живо представил, как в комнату, с прожженной рубашкой на руке, входит Сидике, что-то лепечет, бабка тут же устраивает ей дикий скандал, возможно, даже выхватывает из кармана связку ключей и в сердцах швыряет их в девушку. Ну а я преспокойно лежу на кровати, наблюдая, как Сидике, вся в слезах, выскальзывает из комнаты.

– Может, все-таки скажешь, чем ты занят весь день?! – снова спросил меня дед, повернувшись ко мне всем корпусом и сощурившись за толстенными стеклами своих очков.

– ...говорю ему, говорю, иди делай уроки, да он разве послушает?!.. В мать пошел... – шурша листами газеты, брюзжала бабка. Она стреляла на меня глазами поверх очков, еле державшихся на кончике носа.

– Я, дедушка, много читаю и уроки все делаю, – невозмутимо ответил я, продолжая глазеть в потолок.

– В твои годы я уже в подмастерьях ходил. Специальность в руках была. Эх, не так ты живешь, брат, – сказал он.

– В твои годы, в твои годы, – передразнил я насмешливо. – Что не так-то? Ну что?

– Валяешься целыми днями, вот что! Размазня из тебя получится! – вскипел дед, но бабка, сердито взглянув на него, энергичным жестом водворила очки на место и проворчала увещевательно:

– Врач сказал, чтобы он отдыхал побольше. Малоокровие у него, не видишь разве, какой он бледненький?

– Врач это два года назад сказал, и с тех пор ничего, жив-здоров...

– Да как это ничего? – вскинулась бабка и хотела уж было дать волю словам, но дед покраснел как рак, дернул себя за седой хохол на макушке и знаком велел ей продолжить чтение. Бабка, еще покудахтав немного, взялась опять за газету и, переменив тон, стала читать. Я слушал, поглядывая на дверь, но Сидике все не появлялась. Глаза мои слиплись. Бабка вскоре умолкла и отложила газету. Стул под ней закрипел – она встала. Я почувствовал, как она наклонилась, укрывая меня одеялом. В нос ударил противный запах старческого дыхания, но отвернуться не было сил. Я заснул.

В доме уже горел свет, когда бабка стала будить меня.

– Вставай, Дюрика... нужно раздеться... – говорила она. – Вот чертовка!.. сожгла, дрянь!.. ну, вставай же... сейчас мы постелем... и ляжешь как следует...

Я разодрал глаза. Сожженная ночная рубашка лежала на видном месте, расстеленная на горке белья. Она уже не ин-

тересовала меня. Пока бабушка стелила постель и помогала мне снять ботинки, мне не давала покоя мысль, что уроки остались несделанными, но я отогнал ее и юркнул под одеяло.

В ванной комнате зашумела вода. «Опять Сидике моется», – подумалось мне. На минуту сознание мое прояснилось, и я, не испытывая на сей раз никакого страха, увидел перед собой ее свежее, отливающее матовым блеском тело и полотенце в руках, которое она как-то странно комкала... Я заставил себя зажмуриться, но видение не исчезло. Постепенно я погрузился в сон.

Он принес мне успокоение.

Сидике, съежившись, присела на деревянную решетку у ванны. Она улыбалась мне. Потом выпрямилась во весь рост и, качнувшись, поплыла в мою сторону. Я смущенно потупил глаза, но Сидике, тронув меня за подбородок, подняла мою голову. И рассмеялась. Совсем как мать...

Небо было затянуто грязно-серыми тучами. Хлестал дождь. Из прорванных водосточных труб фонтанами била вода. Шквалистый ветер, гуляющий в поредевших кронах, то и дело обрушивал на окно ледяную стену дождя. Все живое – деревья, кусты с поржавелой листвой – внезапно поблекло, даже яркая зелень травы и слепящая желтизна тюльпанника не смогли устоять, влившись в общую серость пейзажа.

В комнате было прохладно. Я уж давно не спал и глядел за окно, в занавешенный тучами и дождем мир. Вылезать из-под теплого одеяла мне не хотелось. Время от времени я снова задремывал, потом просыпался, услышав какой-нибудь шум. Но независимо от того, пребывал ли я в убаюкивающей полудреме или вслушивался в завывание ветра, где-то в дальнем уголке сознания постоянно и все ощутимее шевелился страх. Я боялся дождя, мести Сидике, боялся идти в школу с невыученными уроками, боялся, что меня арестуют; и что целоваться я не умею, и что забыл в саду книгу отца – от этого тоже было не по себе. Но все эти мелкие страхи не выползали поодиночке в конкретной своей реальности, а клубились бесформенно, точно так же, как вздымавшийся над газоном серый мгlistый туман.

Впрочем, было мгновение, когда мне показалось, что все еще можно поправить. Можно встать и сделать уроки, пока

есть время, и Сидике можно все объяснить, и, наверно, она поймет, однако при мысли о том, что придется выбраться из-под одеяла, по спине у меня пробежали мурашки.

Над головой зазвенел будильник. Значит, времени было уже половина седьмого. Мне захотелось реветь. С трудом пересилив себя, я все-таки выбрался из постели, в один миг натянул одежду и на скорую руку умылся.

В кухне грелась духовка, и оттуда в прихожую, где находился обеденный стол, веяло смешанным с запахом газа приятным теплом. Мать, одетая уже, оживленная, в небывало веселом расположении духа накрывала к завтраку, что-то мурлыча себе под нос. Вилки и ложки так и летали у нее в руках. Сидике стояла у плиты и, сосредоточив все свое внимание, следила за молоком. Оно как раз закипало, над кастрюлькой, наполненной доверху, поднялась шапка пены и, готовая выплеснуться, уже подступила к краям, когда Сидике бдительно перекрыла газ, и пенистая шапка постепенно опала.

– Милости просим! – защебетала мать. – Что нахмурился, медвежонок? – И, наклонившись, чмокнула меня в щеку.

Я пробурчал им угрюмое «здрассте». Сидике же, подстраиваясь под игривый тон матери, бросила:

– Настоящий мужик стал – все время ворчит!

Мать, услышав ее слова, от души рассмеялась.

– Конечно мужик! Славный маленький мужичок. Что прикажешь? Чай? Кофе? Какао? – кланяясь, спросила она,

хитро сощурилась и закончила нарочитым басом: – Или, может, миску похлебки?

И опять рассмеялась. Но меня не развеселило и это, я все ждал, что она, как бывало не раз, вдруг вспылит, разозлится.

– Ни того, ни другого, ни третьего! – продолжая смеяться, воскликнула мать. – Знаешь, что ты получишь на завтрак?

Я, усаживаясь к столу, вопросительно вскинул глаза.

– Апельсин! – возвестила она.

– Брось дурачиться, – буркнул я раздраженно, но мать меня не услышала, она была уже у буфета, откуда и впрямь извлекла два огромнейших апельсина и торжествующе предъявила их мне.

Сидике с любопытством приблизилась к матери.

– Апельсин... – неуверенно протянула она.

– А знаешь, кто их прислал? – с сияющим видом спросила мать и ответила тут же: – Товарищ Ракоши!

Меня охватила благоговейная радость.

– Это правда? – спросил я. – Ты с ним разговаривала? Это он мне прислал?

Глаза матери даже не дрогнули, но в улыбке ее мне почудилась фальшь.

– Подошел ко мне и спросил, нет ли у меня сына. Я сказала, что есть. В таком случае, говорит, передайте ему от меня апельсины!

Тут я понял, что это неправда, однако разоблачать ее невинную ложь мне совсем не хотелось. Лишь позднее, годы

спустя, я смог представить себе, как во время приема моя мать стоит в очереди для того, чтобы пожать руку товарища Ракоши. Но вот она отходит в сторону и, заметив лежащие в вазе апельсины, вспоминает обо мне, оглядывается украдкой, открывает сумочку и быстро кладет в нее два апельсина. Быть может, при этом она даже улыбается, потому что на ум ей приходят листовки.

– А еще я сказала товарищу Ракоши, что сын у меня не какой-нибудь, а отличник и пионер. Правда, есть у него одна пара по арифметике, но я товарищу Ракоши обещала, что он ее непременно исправит, чтобы быть совсем круглым отличником.

В том, что мать мне врет, сомнений больше не оставалось – не могла она говорить обо мне ничего плохого. Если и говорила, то только хорошее. Мать положила передо мной апельсин, ласково что-то воркуя, и погладила меня по вихрам. Меня это рассердило.

– А это вам, Сидике! – протянула она второй апельсин девушке.

Я не раздумывая стал чистить свой, в то время как Сидике в немом изумлении вытаращила глаза и глядела то на лежащий у нее на ладони оранжевый плод, то на мать, словно бы переспрашивая: «Что, и правда мне?» Честно сказать, я и сам ни разу еще не пробовал апельсинов, однако признать это перед Сидике было стыдно.

– Ешь, чего ты? – небрежно бросил я девушке.

– Я матушке отвезу, – тихо проговорила она, – и Дюрке...

– Отвезите, Сидике, отвезите, – милым голосом подхватила мать. – Ведь они не видали такого!

Апельсин, с которого я еще обдираю кожуру, замер в моих руках. Я положил его на очистки. «Ведь они не видали такого!» – крутились в мозгу слова матери.

Я взглянул на нее недоверчиво, словно бы ожидая подтверждения этих слов, но тут же подумал: наверное, она права, они не видали такого. Я и сам видел их только на цветных картинках в учебнике по ботанике. Невинная материна ложь показалась мне вдруг отвратительной, принимать ее не хотелось. А снисходительный тон, которым она сказала это самое «...не видали такого», отдалил ее от меня, вызвал недоумение и враждебность. И внезапно, в считанные мгновения что-то во мне изменилось: меня поразило собственное высокомерие по отношению к Сидике. Мне вспомнилось, как бесстрастно отец сказал девушке: «Вы не прислуга у нас... отныне вы член семьи». Тогда он казался мне великаном. Наверное, потому, что всегда был таким далеким.

Сидике с апельсином в руках бесшумно удалилась к себе. В дверях показалась бабка. Голова ее была гордо вскинута, она бросила в сторону матери обиженный взгляд, едва ответив ей на приветствие.

– Отнесу деду кофе... – сказала бабка.

– Не трудитесь, мамочка, я сама отнесу, – защебетала мать. – Я и вам принесу! Послабее или покрепче?

– Уж оставь, – отрубилась та, – как-нибудь обойдемся!

Резкий тон заставил мать вздрогнуть. Пока бабушка скованными движениями разливала кофе, она вертелась возле плиты. Нарезала хлеб, намазала его маслом. Бабушка взяла поднос и, уже выходя из кухни, бросила ей через плечо:

– Разговор к тебе есть!

Мать скорчила жуткую гримасу. Бабушка, обернувшись в дверях, это заметила.

– Хорошо, – еще более оскорбленным тоном сказала она и вылетела из кухни.

Мать спросила меня, озорно подмигнув:

– Она что, всегда такая сердитая?

Я дернул плечом и уткнулся в кофейную кружку.

Из своей комнатки вышла Сидике и со следами растроганности на лице подошла к матери.

– Не обессудьте, я даже не поблагодарила вас... в первый раз увидела собственными глазами.

– Ну вот еще, пустяки какие, – сказала мать и провела рукой по волосам Сидике.

Тут в переднюю бомбой влетела бабушка – на руке у нее развевалась прожженная ночная рубашка.

– Полюбуйся вот! – швырнула она рубашку на стул.

Мать уставилась на бабушку с недоумением, но та была слишком разгневана, чтобы пускаться в какие-либо объяснения. За спиной у нее замаячила сгорбленная, сухая фигура деда.

– Мать, не надо... – начал он было вполголоса и умолк, остановленный театральным жестом старухи.

– Вот что ты натворила! – вскричала она. – Гримасничать у меня за спиной – это ты можешь... насмехаться над старой женщиной!.. А ведь я говорила тебе, говорила... да вы разве слушаете... я для вас ведьма старая, что вам слушать меня!.. – Голос бабки перешел в пронзительный визг: – Говорила я вам, что нельзя молодую брать?! Всю одежду мне пережжет!.. все белье!.. что, мне новое покупать каждый день?.. да я денег не напасусь... а ей только бы апельсины жрать... куда мне ее теперь? Куда? – истошно вопила она, потом схватила сорочку и проткнула своим кулачком коричневое пятно. Истонченная ткань рассыпалась в прах.

– Полюбуйся-ка, что прислуга твоя вытворяет! – И швырнула сорочку на пол.

– Замолчите сию же минуту! – прикрикнула на старуху мать.

Сидике вжалась спиной в дверь, судорожно вцепившись в крашенный белилами резной косяк, и глазами – как мне показалось – искала меня. Я понял, что должен сказать что-нибудь. И потупился.

Бабка беззвучно разинула рот и под взглядом матери быстро попятилась к выходу. У деда на лбу вздулись жилы, он закашлялся, горестно повторяя:

– Не надо... это... оставьте...

– Ну хорошо... хорошо! – задыхаясь, прошипела бабка,

дернула старика за руку и захлопнула дверь.

Мать постояла в оцепенении, подняла с полу ночную рубашку и неумелыми, угловатыми движениями начала ее складывать. Села к столу и, рассеянно передвигая с места на место приборы, посмотрела на Сидике. Девушка, все так же прижимаясь к двери, застыла в томительном ужасе.

– В следующий раз повнимательней будьте! Я этого не люблю!

Сидике глянула тут на меня.

Я отломил дольку апельсина и сунул в рот.

В воскресенье утром дождя уже не было. Сквозь облака проглянул бледно-желтый диск солнца и тут же скрылся за набежавшим обрывком тучи. Солнце словно бы подмигнуло мне. Кругом все затихло. Странно было, что наверху облака беспрестанно двигались, а внизу, на земле, царил полный покой. Такой тишины я давно не слышал. Ядовито-зеленые стебли плюща, стискивая в железных объятиях ствол искусственного дерева, упрямо карабкались вверх, а капли дождя, перескакивая с одного маслянисто блестящего листика на другой, спускались вниз... так, прыгая по зеленым ступенькам, они достигали земли, где воды уже и без того было достаточно. Она блестела и на газонах, и на бетонных дорожках, мокрые ленты которых взбирались по склону и устремлялись к воротам.

Я стоял у окна.

На улице, за воротами, тоже все было тихо. По хриплым захлебывающимся звукам канатки можно было отсчитывать время. В воскресенье утром ее вагончик поднимался на гору лишь каждые полчаса.

Из кухни донеслось приглушенное позвякивание посуды. Потом запахнулась входная дверь, и на дорожку в халате и в туфлях на босу ногу, с растрепанными волосами выскочил мой отец. Добежав до почтового ящика, он вынул газеты

и опасно, боясь поскользнуться, затрусил назад. Заметив меня, он приветственно махнул свернутыми в трубку газетами и скрылся за дверью.

Я стоял еще долго. Тянул время. Думал о том, что стоит мне отойти от окна, умыться, одеться – и начнется этот проклятый день, который спутает, поломает, разрушит все, что до этого шло так гладко, весело и легко.

Скрестив руки на груди, я стоял, прижав лоб к стеклу. От дыхания окно запотело, я рисовал на нем пальцем, потом снова дышал и опять чертил линии.

За спиной проскрипела дверь. Я оглянулся и увидел бабу с двумя пустыми кружками в руках. Каждый вечер она наливала в них воду и уносила в их спальню.

– Здравствуй, Дюрика, – улыбнулась она, проходя мимо меня по комнате.

Я поздоровался.

– Одевайся скорей. Скоро гости придут.

Не взглянув на нее, я отвернулся к окну. Пятно на стекле мало-помалу таяло, и каракули мои вместе с ним. «Все кончено», – подумалось мне.

Я умылся, аккуратно оделся, убрал постель и, завалившись с книгой на диван, углубился в чтение.

Было уже около полудня, когда у ворот скрипнул тормозами первый автомобиль. В окно я увидел, как выпрыгнул из него шофер и, бегом обогнув машину, открыл задние дверцы.

Сперва из машины выбрался коренастый мужчина, затем – худощавая женщина. И остановились в ожидании. Женщина, заглянув в машину, что-то сказала. Чем-то, быть может посадкой головы, она показалась мне очень знакомой. Наконец распахнулась и третья дверца, и из машины с достоинством вышла сидевшая на переднем сиденье Ева. На ней было синее платье с белым воротничком и белые гольфы. Они о чем-то заспорили. Ева заглянула в сад и капризно тряхнула головой. Худощавая женщина подошла к ней ближе, и тут, когда они уставились друг на друга в упор, зло сверкая глазами, я увидел, насколько они похожи в каждом своем движении.

Водитель тем временем сел за руль и ждал чего-то, не выключая двигателя. Они остались втроем. Наконец, подталкивая Еву, двинулись вниз по дорожке.

Я отскочил от окна, плюхнулся на кровать и, отвернувшись к стене, закрыл глаза. Сейчас меня арестуют? Или это они к нам в гости пожаловали? Тогда почему ждет машина? Они ведь живут рядом с нами, только вход с другой улицы! Зачем машину оставили? Кого она ждет?

Неужто и правда меня?.. Я сжался в комок. Откуда-то издали, как сквозь вату, донеслись слова матери, она звонко приветствовала гостей. Потом стукнула входная дверь, они вошли в гостиную. А машина как будто отъехала! Я глянул в окно, но с кровати ворот не было видно. Я вскочил, посмотрел. В самом деле отъехала...

Из груди моей вырвался вздох облегчения. Ноги дрожали. Я рухнул опять на кровать, обхватил колени руками, однако дрожь не унялась.

Машины теперь подъезжали уже одна за другой. Слышался скрип тормозов, моторы стихали, хлопали дверцы, затем ворота, опять заводились моторы, раздавались шаги, перед моим окном проплывали тени, потом доносились приветственные возгласы гостей и грохот отодвигаемых в гостиной стульев...

В другое время все эти звуки показались бы мне самыми заурядными, но сейчас они наплывали, сливались друг с другом. Все казалось знакомым, уже пережитым однажды. Видимо, потому, что я ждал этого.

Я не знал, где мне спрятаться. Как улизнуть от них. В саду лужи. И на чердак не подняться – заметят.

Так я и лежал, пока ко мне не заглянула мать.

– Может, все-таки выйдешь? – проворчала она.

Я прикинулся, будто сплю. Она потрясла меня за плечо.

– Что ты делаешь здесь? Все уже собрались! А граф Тиль, видите ли, заставляет себя ждать! Это как понимать?!

Я сменил выражение лица.

– Ну ладно... иду... не кричи...

Мать взглянула на меня успокоенно и сказала:

– Дети в зимнем саду, пойді к ним.

Перед тем как войти, я опять сменил маску. Попробовал улыбнуться.

– Привет! – крикнул я.

Ева сидела ко мне спиной в плетеном соломенном кресле и, уставившись в одну точку, смотрела в сад. Мальчишки Пожгаи стояли над моими разбросанными игрушками, старший пинал детали конструктора.

– Ты зачем их пинаешь?

– Низачем, – сказал он, пыхтя и оттопырив до самого носа губу.

– Это же не твое!

– У меня еще больше игрушек...

Я промолчал. Внимание мое было приковано к Еве. Я знал, что придется с ней говорить. Избежать этого было никак невозможно. Либо я сейчас подойду к ней, либо просто сбегу... Но бежать было некуда. Я спиной ощущал на себе колючий взгляд матери.

– Привет, – сказал я, шагнув к Еве.

Она молча кивнула.

Мальчишка как ни в чем не бывало продолжал пинать мой конструктор.

Я рассерженно повернулся и только теперь заметил, что в углу, под огромным фикусом, сидели девчонки Унгвари. Тощие, молчаливо-надменные, они напыжились в своих диковинных платяницах и только глазами постреливали в мою сторону.

– Привет, – крикнул я им. Они что-то прошепелявили, но я не расслышал. Не идти же мне к ним, подумал я и отвер-

нулся к Еве. Ни за что к ним не подойду. Девчонки стали шушукаться. Тогда я пожал плечами и вообще повернулся спиной.

– Привет, – еще раз сказал я Еве.

Она промолчала, только глаза вскинула.

– Ты сюда как попала?

– На машине приехала, – язвительно ответила Ева.

– В гости, что ли?

– Если не против, то да.

– Не сердись.

– Ты меня оскорбил.

– Не сердись, ну.

– Ты мне надоел, и все остальные тоже. Я отсюда сбегу.

– Я с тобой, – вызвался я, думая, что она обрадуется этой совместной акции.

– Ты останешься здесь. Потому что ты трус.

– Я не трус...

– Не подумай, что я уже все забыла. Просто на свете бывают вещи, которые приходится скрывать. Кстати, – добавила она словно бы между прочим, – я на тебя отцу пожаловалась...

– А давайте качели подвесим, – сказал один из мальчишек Пожгаи.

– Подвешивайте, – ответил я и вышел из зимнего сада.

Мне хотелось смеяться. Я знал, что она соврала. Решила меня испугать. Думает, я боюсь ее. Ошибается! И трусить я никогда не трусил. Драться я не люблю. Но это вовсе не трусость. Вот если бы я сбежал отсюда, это была бы трусость. Но я сильный и родителям смело в глаза могу посмотреть...

Тут я задумался. Будто туча, пронесся в сознании страх. А могу ли?.. А вдруг не врет?.. Вдруг и правда пожаловалась?

Вот войду я сейчас в гостиную, а отец ее встанет и скажет мне: «Собирайся. Нас ждет машина». Хотя ведь машина уехала. «Я тебя посажу!» – «Ты не сделаешь этого!» – закричит моя мать. Но он может. Потому что главное. Вон и дом у них красивее нашего. В голове у меня все перепуталось, все вывернулось наизнанку, нервы сдали. Мне хотелось теперь только плакать. Но лечь я не смел, кто-нибудь мог войти ко мне в комнату. В любой момент.

Я куда-то поплелся.

Сидике... Сидике расскажу обо всем... Но тут из гардеробной меня окликнула мать. Она стояла на коленях перед шкафами с распахнутыми настежь дверцами. Вокруг громоздились кучи белья – скатертей, простыней, салфеток и полотенец. Мать выбрасывала из шкафов все новые и новые кипы.

Ее присутствие меня успокоило.

– Что ты ищешь?

– Да белую скатерть, чтоб ей провалиться! Ты не видел? –
взглянула мать на меня.

– Нашла кого спрашивать.

– Да я так спросила, на всякий случай, – до пояса скрывшись в шкафу, пробурчала она, потом вскрикнула, потеряв терпение: – Как сквозь землю проклятая провалилась! Зови бабушку!

– Сейчас позову, – сказал я и двинулся было с места, но мать задержала меня.

– Нет, нет, нет, лучше я! А ты Сидике позови.

– Хорошо.

Она была в кухне. Стоя в облаке пара над огромной кастрюлей с кипящей водой, давила в нее галушки.

– Сидике, поди на минутку, тебя мама зовет... – сказал я.

От непривычно мягкого тона она смутилась. Не знала, бросать ли работу, идти или сперва закончить.

– Дюрика... у меня галушки разварятся. Скажи, что я скоро приду.

Мать с бабкой стояли у ящика с грязным бельем. Его со-
держимое лежало у них под ногами. Обе, уперев руки в бедра, растерянно покачивали головами.

– Ну что? – повернулась мать.

– Сейчас придет, только галушки доварит.

– Это точно, – сказала бабка.

– Не знаю, не знаю.

– Ты вот всем доверяешь, а потом расплачиваешься!

– Да уж ладно вам! Зачем ей сдалась эта скатерть на двенадцать персон!

– Солдатик ее отслужит, они и поженятся.

– Мама!..

Мать задумалась, но не ответила мне. Во мне закипело отчаяние. Неправда это, она не могла украсть! Я внезапно почувствовал себя виноватым. Как будто это я украл скатерть... И почувствовал, что краснею. Нет, Сидике не могла украсть! Зачем ей? Я тоже не брал.

– Наверно, она завалилась куда-нибудь! – крикнул я возбужденно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.